ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ЛЮБОВЬ МЕРТВОЙ КРАСАВИЦЫ[1]

(Перевод с французского Н. Лоховой)

Ты спрашиваете, брат мой, был ли я влюблен, — о да! Это удивительная и жуткая история, и, хотя мне уже шестьдесят седьмой год, я с трудом решаюсь ворошить пепел этого воспоминания. От вас я не хочу ничего утаивать, но человеку, не столь укрепившему свой дух, я бы не доверил подобного рассказа. Я сам не могу поверить, что это произошло со мной, — настолько необычно случившееся. Более трех лет я был жертвой удивительной, дьявольской иллюзии. Я, бедный сельский священник, ночи напролет видел во сне (дай Бог, чтобы это был сон!) себя, живущего светской жизнью — жизнью грешника, жизнью Сарданапала[2]. Один только взгляд, брошенный на женщину, — взгляд, слишком исполненный симпатии, — и я мог бы погубить свою душу. Но в конце концов, с Божьей помощью и при содействии моего духовного отца, мне удалось изгнать вселившегося в меня дьявола.

К моему существованию тогда прибавилось совершенно другое — ночное. Днем я служил Господу, был занят молитвой и священными предметами, хранил целомудрие; ночью же, не успевал я закрыть глаза, как превращался в молодого господина, истинного знатока женщин, собак и лошадей, игрока в кости, любителя вина и богохульника. И когда с первыми лучами солнца я просыпался, мне казалось, что я, напротив, засыпаю и во сне вижу себя священником. Слова и образы, оставшиеся в моей памяти от этой сомнамбулической жизни, не дают мне покоя, и хотя я всю жизнь прожил священником, не покидая стен своего домика, но, слушая меня, можно было бы сказать, что это скорее одряхлевший прожигатель жизни, который наконец отказался от мира, постригся в монахи и жаждет спасения, несмотря на столь бурно протекшую молодость, нежели угрюмый семинарист, состарившийся никому не известным кюре в лесной глуши и никак не связанный с миром.

Да, я любил, как не любил никто на свете, — безумно и страстно. Я удивляюсь, как сердце мое не разорвалось от этой страсти. Ах, что за ночи это были, что за ночи!

Еще в самом нежном возрасте я чувствовал призвание быть священником; все мои занятия с детства были направлены в эту сторону, и жизнь моя до двадцати четырех лет была, по сути, сплошным послушанием. Получив

богословское образование, я успешно прошел все низшие ступени иерархии, и мои наставники сочли меня достойным, невзирая на юный возраст, преодолеть последний и страшный рубеж: день моего рукоположения был назначен на Страстную неделю.

В миру я не бывал: мир для меня был ограничен коллежем и семинарией. Я смутно представлял себе, что существует нечто, именуемое женщиной, но это не занимало подолгу мою мысль; я был совершенно невинен. Два раза в год я виделся с моей престарелой матушкой, которая была тяжело больна, — этим ограничивалось мое общение с внешним миром.

Я ни о чем не жалел, не испытывал ни малейшего колебания; готовясь совершить этот бесповоротный шаг, я был исполнен радостного нетерпения. Никакой жених с таким лихорадочным жаром не отсчитывал часы: я не спал, я грезил, как буду служить мессу. Служить Господу… Я не знал ничего лучше в мире, не знал более высокой чести. Я не согласился бы стать королем или поэтом.

Я говорю все это, чтобы показать вам, сколь противоестественно случившееся со мной и сколь необъяснимо наваждение.

Когда настал великий день, я отправился в храм таким легким шагом, будто мог держаться в воздухе. Я казался себе ангелом с крыльями за плечами. Меня удивляли хмурые, озабоченные лица моих собратьев (нас было несколько человек). Я провел ночь в молитвах, и мое состояние было близко к экстазу. Сквозь церковные своды я видел небо, а епископ, почтенный старец, представлялся мне Богом Отцом, склонившимся над вечностью.

Вам известны подробности этой церемонии. Благословение, причастие хлебом и вином, помазание ладоней оглашенных и затем священная жертва, приносимая совместно с епископом, — я не буду подробно описывать все это. О, сколь же прав был Иов, и как неосторожен тот, кто не положил завета с глазами своими![3]

Случайно я поднял голову, до сих пор склоненную, и увидел молодую женщину редкостной красоты, одетую с королевским великолепием. Хотя она была довольно далеко, по другую сторону сквозной перегородки, но я видел ее прямо перед собою. Мне показалось, она стояла так близко, что я мог бы до нее дотронуться. Как будто пелена спала с глаз моих. Я ощутил себя слепым, который внезапно прозрел. Сияние, только что исходившее от епископа, вдруг померкло, пламя свечей на золотых подсвечниках побледнело, во всей церкви сделалась кромешная темнота.

И в этом мраке, как ангельское видение, вырисовывался ее чудесный образ: казалось, она сама светилась и давала свет, а не принимала его.

Опустив веки, я твердо решил не подымать их более, чтобы освободиться от власти всего мирского, поскольку растерянность охватывала меня все больше и больше и я едва понимал, что со мною происходит.

Минуту спустя я вновь открыл глаза, ибо и сквозь ресницы видел ее — излучавшую в пурпурном мраке все цвета, преломленные сквозь призму, — так бывает, когда глядишь на солнце. Ах, как она была прекрасна! Величайшие живописцы, устремляясь к небесам в поисках идеальной красоты и возвращаясь на землю с божественным портретом Мадонны, даже близко не подошли к этой фантастической реальности. Ни стих поэта, ни палитра художника не в силах дать ни малейшего представления о ней.

Она была довольно высокого роста, с фигурой и осанкой богини. Ее нежно-белокурые волосы, разделенные пробором, струились по вискам, как два золотых потока: она напоминала увенчанную короной царицу. Ее просторный чистый лоб сиял голубовато-прозрачной белизной над дугами темных ресниц, еще больше оттенявших глаза цвета морской волны, живости и блеска которых не вынес бы ни один мужчина: судьба его решалась в этих лучах. Что за глаза! Никогда еще в человеческих глазах не видел я такой жизни, такой огненной страсти, и такой прозрачной чистоты, и такого влажного блеска. Я ясно видел, как лучи их, подобные стрелам, достигали моего сердца.

Не знаю, с небес или из преисподней исходило пламя, озарявшее их; была ли эта женщина ангелом, или демоном, или, быть может, тем и другим сразу, — но, несомненно, она явилась из рая или из ада: она не могла происходить от плоти Евы, матери всех людей. В улыбке ее румяных уст сверкали великолепные жемчужные зубы, и при каждом движении губ в розовом шелке прелестных щечек появлялись маленькие ямочки. Ее нос тонкостью и чисто королевским достоинством выдавал происхождение самое благородное. Агатовые отблески играли на гладкой, глянцевой коже ее полуоткрытых плеч; несколько рядов крупного белого жемчуга, почти того же тона, что и шея, спускались ей на грудь.

Время от времени она вскидывала голову каким-то волнообразным движением, как важный павлин или уж, и тогда легкий трепет передавался высокому ажурному вышитому воротнику, которым она была окружена, будто серебристой оградой.

На ней было алое бархатное платье, и из его широких рукавов, подбитых горностаем, виднелись бесконечно нежные руки патрицианки: длинные пухлые пальцы были столь идеально прозрачны, что пропускали свет, подобно перстам Авроры.[4]

Я и теперь представляю себе эти подробности так ясно, словно видел все это вчера. Хотя я и был в крайнем смятении, ничто не ускользнуло от меня: крохотная черная точка сбоку на подбородке, неприметный пушок над уголками губ, нежный лоб, дрожащая тень ресниц на щеках — я улавливал мельчайшие детали, удивляясь своей зоркости.

Чем дольше я смотрел на нее, тем сильнее чувствовал, как во мне отворяются какие-то потайные двери, до тех пор запертые; всем чувствам сквозь закупоренные прежде отдушины приоткрывались неведомые миры; жизнь явилась мне в совершенно ином виде: я только что родился заново, и мысли побежали в другом направлении. Ужасная тревога сдавила мое сердце. Текли минуты, и каждая казалась мне то мгновением, то веком.

Между тем церемония шла своим чередом и уводила меня все дальше от мира, нарождавшиеся желания которого яростно бились, требуя впустить их. Я хотел сказать «нет» и все же сказал «да». Все мое существо восставало и протестовало против насилия, которое мой собственный язык совершал над моей волей. Какая-то тайная сила заставила меня произносить эти слова. Должно быть, именно так немало юных девушек идут под венец, хотя и верят до последней минуты, что во всеуслышание откажут навязываемому жениху, но все-таки не решаются сделать это. И так же, наверное, столько бедных послушников надевают монашеское облачение, обещая себе разодрать его в клочья в момент произнесения обета. Человек не решается устроить такой скандал перед всем миром, обмануть ожидания многих людей; все эти благие намерения, все эти взгляды давят на него тяжелым гнетом, а кроме того, распорядок столь четок, все настолько расписано до деталей, столь неоспоримо и очевидно, что мысль слабеет и сдается под гнетом обстоятельств.

Выражение глаз прекрасной незнакомки менялось, по мере того как продолжалась церемония. Нежный и ласковый вначале, взгляд ее принял выражение презрительной досады, как будто оттого, что не был понят.

Я совершил усилие, которое могло бы свернуть гору, хотел крикнуть, что не хочу быть священником, но не мог совладать с собой.

Язык мой прилип к гортани, и я был не в силах даже, покачав головой, обнаружить свои истинные помыслы. Так, наяву, я испытывал состояние, сходное с ночным кошмаром, когда хочешь кричать, когда от одного слова зависит вся твоя жизнь, — и не можешь раскрыть рта.

Она, похоже, чувствовала те муки, которые я испытывал, и, как бы подбадривая, бросала на меня взгляды, исполненные божественных обетований. Эти глаза были поэмой, каждый взгляд был песнью. Она говорила мне:

«Если ты хочешь быть со мной, я сделаю тебя счастливее, чем сам Бог в своем раю. Ангелы будут завидовать тебе. Порви этот кладбищенский саван, в который собираешься облачиться. Я — сама красота, сама юность, сама жизнь. Идем со мной, мы будем сама любовь. Что мог бы дать тебе взамен Иегова? Наша жизнь будет течь как сон и будет вся одним бесконечным поцелуем. Пролей вино из этой чаши — и ты свободен. Я унесу тебя к неведомым островам; ты будешь засыпать у меня на груди, на постели из чистого золота, под серебряным пологом; потому что я люблю тебя и хочу отнять тебя у твоего Бога, перед лицом которого столько благородных сердец проливают потоки любви, не достигающие Его».

Мне казалось, я слышу бесконечно сладкий ритм этих слов, ибо взгляд ее почти звучал, и фразы, которые посылали мне ее глаза, отзывались в глубине моего сердца, будто невидимые уста вдыхали их в мою душу. Я чувствовал, что готов отказаться от Бога, и в то же время сердце мое механически исполняло все формальности церемонии.

Красавица снова взглянула на меня с такой мольбой и с таким отчаянием, что острые клинки пронзили мне сердце, и я почувствовал в своей груди больше мечей, чем скорбящая Божия Матерь на иконе.[5]

Все было кончено, я был уже священник.

Никогда лицо человеческое не окрашивалось такой мучительной тоской: девушка, которая видит, как жених внезапно падает замертво рядом с ней; мать перед опустевшей колыбелью ее ребенка; Ева у порога райских врат; скупец, который находит камень вместо своего сокровища; поэт, роняющий в огонь единственную рукопись своего самого прекрасного произведения, — не выглядят более потрясенными и безутешными. Кровь совсем отхлынула от ее прекрасного личика, которое стало мраморно-белым; ее великолепные руки упали вдоль тела, как будто расслабились, и она оперлась о колонну, потому что ноги ее подкашивались и отказывались ей служить. А я,

мертвенно-бледный, истекавший кровавым потом, как Спаситель на Голгофе, шатаясь, направился к вратам церкви; я задыхался, эти своды давили мне на плечи, и, казалось, одна голова моя выносила всю тяжесть купола.

Когда я собирался переступить порог, кто-то внезапно схватил меня за руку. То была рука женщины: я никогда раньше не прикасался к ним. Она была холодная, как змеиная кожа, но прикосновение ее оставило пылающий след, словно клеймо каленого железа. Это была она. «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» — произнесла она тихим голосом и исчезла в толпе.

Мимо прошел старый епископ, посмотрев на меня суровым взглядом. Я выглядел в высшей степени странно: я бледнел, краснел, терял сознание, я был ослеплен. Кто-то из моих товарищей, сжалившись, отвел меня в семинарию, ибо сам я был не в состоянии найти дорогу.

На углу какой-то улицы, когда мой юный собрат отвернулся, ко мне приблизился чернокожий паж в причудливой одежде и на ходу, не останавливаясь, передал мне небольшой конверт с золотой чеканкой по углам, сделав знак, чтобы я спрятал его. Я сунул конверт в рукав и держал так, покуда не остался один в своей келье. Там я сломал замочек и увидел два листка со словами: «Кларимонда, дворец Кончини». Я так мало знал в жизни, что не имел понятия о Кларимонде, несмотря на всю известность этого имени, и совершенно не представлял себе, где находится дворец Кончини.[6]

Я строил тысячу догадок, одна сумасброднее другой, но, положа руку на сердце, мне хотелось только одного — увидать ее снова, кем бы она ни была — дамой из высшего света или же куртизанкой.

Эта только что зародившаяся любовь уже пустила глубочайшие корни, и я даже не пытался вырвать их — настолько это казалось мне невозможным. Эта женщина овладела мною целиком. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы я изменился. Она вдохнула в меня свое желание. Я жил уже не в себе самом, а в ней и ею. Я сходил с ума, я целовал свою руку в том месте, где она коснулась ее, я часами повторял ее имя. Стоило закрыть глаза, и я видел ее так ясно, как если бы она вправду была рядом, и снова повторял те слова, которые она произнесла у порога церкви: «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» Я понимал весь ужас собственного положения, и все мрачные стороны только что избранного мною пути ясно открывались мне. Быть священником! Значит, хранить целомудрие, не любить, не иметь пола, возраста, отвернуться от всех проявлений красоты, выколоть себе глаза, пресмыкаться в холодной тени монастыря или церкви, видеть лишь

умирающих, отправлять службу у безвестных мертвецов и самому нести свой траур под черной сутаной, так что из этого одеяния можно будет сделать обивку для моего же гроба!

И я чувствовал, как во мне поднимается жизнь, словно озеро, которое волнуется и выходит из берегов; в жилах моих с силой стучалась кровь; юность, так долго подавляемая, взорвалась внезапно, как цветок алоэ, который сто лет собирается цвести и потом вдруг лопается со звуком, подобным удару грома.

Что же делать, как вновь увидеть Кларимонду? Мне не разрешалось покидать семинарию ни под каким предлогом. Я не знал в городе ни души, я даже не должен был появляться там и только ждал, когда мне укажут мой приход. Я пытался снять оконную решетку, но она находилась на высоте, внушавшей опасение; без лестницы нечего было и думать об этом. А кроме того, я мог спуститься только ночью — и как бы я отправился по непроходимому лабиринту улиц? Все эти трудности, которые не существовали бы для другого, были непомерно велики и непреодолимы для бедного семинариста, со вчерашнего дня влюбленного, не имевшего ни жизненного опыта, ни денег, ни платья.

Ах, если бы я не был священником, я мог бы видеть ее каждый день! Я стал бы ее возлюбленным, женился бы на ней, говорил я себе в ослеплении. Вместо того чтобы облачаться в унылый саван, я носил бы платья из шелка и бархата, золотые цепочки, шпагу и перья, как молодые красавцы кавалеры. Мои волосы, теперь бесславно погубленные тонзурой, играли бы вокруг моей шеи волнистыми кудрями.

У меня были бы прекрасные напомаженные усы. Я был бы храбрец. Но прошел этот час перед алтарем, я пролепетал всего несколько слов — и вот уже я добровольно отделился от мира, стал живым мертвецом, сам запечатал камнем свою могилу, выпустил из рук засов своей темницы!

Я устремился к окну. Небо было восхитительно голубым, деревья облачились в весенние наряды; природа выставляла напоказ свое торжество. Площадь была полна народу. Молодые щеголи и юные красавицы прохаживались туда-сюда, пары одна за другой направлялись к саду и беседкам. Компании распевали застольные песни. Именно это движение, жизнь, одушевление, веселье неприятно подчеркивали мое горе и одиночество. В двух шагах от двери молодая мать играла со своим ребенком, целовала его маленькие розовые губки, еще покрытые каплями молока, и смешно дразнила его,

придумывая тысячу милых глупостей, как умеют только матери. Отец, стоявший несколько поодаль, ласково улыбался этой милой компании. Он скрестил руки на груди, как бы пряча свою радость. Это зрелище было невыносимо для меня. Я закрыл окно, бросился на кровать с ужасной ненавистью и завистью в сердце, кусал пальцы и одеяло, как тигр, который три дня голодал.

Не знаю, сколько дней так прошло. Но, внезапно резко обернувшись, я заметил аббата Серапиона[7], стоявшего посреди комнаты и внимательно глядевшего на меня. Я устыдился самого себя и, уронив голову на грудь, прикрыл глаза руками.

— Ромуальд, друг мой, с вами происходит что-то странное, — сказал Серапион после нескольких минут молчания. — Ваше поведение совершенно необъяснимо! Вы, столь благочестивый, спокойный и мягкий, мечетесь в своей келье, как дикий зверь. Будьте осторожны, брат мой, и не поддавайтесь сатанинскому наущению. Дьявол, взбешенный тем, что вы навсегда посвятили себя Господу, рыщет вокруг вас, как волк, стремящийся похитить жертву, и в последний раз пытается привлечь вас к себе. Вместо того чтобы дать ему свалить вас, обессилив, дорогой Ромуальд, наденьте на себя броню из молитв, ограждайте себя, умерщвляя плоть, и доблестно сразитесь с врагом. Вы победите его. Испытание необходимо, и золото выходит из тигеля более чистым, и добродетель нуждается в испытаниях. Не бойтесь и не падайте духом. Такие минуты испытывают самые твердые и Богом хранимые души. Молитесь, соблюдайте воздержание, размышляйте, и дьявол покинет вас.

Речь аббата Серапиона привела меня в чувство, и я стал немного спокойнее.

— Я пришел сообщить, что вас назначили в приход К***: там только что умер священник, и его высокопреосвященство поручил мне направить вас туда; к завтрашнему дню будьте готовы.

Я ответил кивком, что буду готов, и аббат удалился. Я раскрыл требник и начал вслух молиться; но строчки тотчас же стали сливаться у меня перед глазами, мысли в голове спутались и книга выскользнула из рук, чего я даже не заметил.

Уехать завтра, не увидев ее снова! Еще и эта преграда вдобавок к тем, что уже сделали невозможной нашу встречу… Навсегда потерять надежду! Если только не произойдет чуда… Написать ей? Но с кем я пошлю письмо? В таком виде, в этих монашеских одеждах, кому открыться, кому довериться?

Я был в жуткой тревоге. Потом мне наконец вспомнилось, что сказал аббат Серапион об ухищрениях дьявола. Необычность этого приключения; сверхъестественная красота Кларимонды; фосфорический блеск ее глаз; обжигающее ощущение от прикосновения ее руки, смятение, в которое она меня повергла; внезапная перемена, которая произошла во мне; моя набожность, исчезнувшая в мгновение ока, — все это ясно доказывало присутствие дьявола; и эта атласная рука, быть может, была всего лишь перчаткой, под которой он скрывал свои когти. От этих мыслей я весь затрепетал, подобрал требник, скатившийся у меня с колен на пол, и снова принялся за молитвы.

На следующий день Серапион пришел за мной: у дверей нас ожидали два мула, груженные нашими скудными пожитками. Он сел на одного, я, с грехом пополам, на другого. Проезжая по улицам города, я заглядывал во все окна, на все балконы, не покажется ли Кларимонда. Но было слишком раннее утро, и город еще спал. Мой взгляд силился заглянуть за шторы и сквозь занавески всех дворцов, перед которыми мы проезжали; я придерживал своего мула, чтобы успеть все разглядеть. Серапион, вероятно, приписывал это любопытство восхищению, которое вызывала во мне красота архитектуры.

Наконец мы проехали городские ворота и стали подниматься на холм. На самой вершине я оглянулся, чтобы в последний раз увидеть те места, где жила Кларимонда. Весь город покрывала тень от тучи; синие и красные крыши сливались в какой-то общий полутон; тут и там всплывали, как хлопья белой пены, утренние дымы. Благодаря странному оптическому эффекту вырисовывалось, бело-золотое под единственным лучом света, какое-то здание, возвышавшееся над соседними строениями, полностью погруженными в дымку; до него было еще далеко, но казалось, оно уже совсем рядом. Можно было различить малейшие детали, башенки, плоские крыши, окна, рамы — все, вплоть до флюгеров в форме ласточкиных хвостов.

— Что это за дворец я вижу там, освещенный лучом солнца? — спросил я Серапиона.

Он приложил ладонь к глазам и, приглядевшись, ответил:

— Это старинный дворец князя Кончини, который он подарил куртизанке Кларимонде. Жуткие дела там происходят…

В этот миг я так и не знаю, на самом ли деле или то был обман зрения, — только мне показалось, что на террасе скользнула легкая белая фигура, сверкнула на мгновение и погасла. Это была Кларимонда!

О, знала ли она, что в этот час, на вершине суровой дороги, уводившей меня от нее, дороги, по которой мне нельзя было вновь спуститься, в жаркой тревоге, я не сводил глаз с дворца, где она жила и который ничтожная игра света, казалось, приближала ко мне, как бы приглашая войти туда хозяином. Наверное, она знала это, ибо ее душа была слишком связана с моей симпатическою связью, чтобы не заметить малейших ее колебаний, и именно это чувство заставило ее, еще облаченную в ночные одеяния, подняться на верх террасы, по ледяной утренней росе.

Тень поглотила дворец, и остался только неподвижный океан крыш и кровель, в котором были различимы лишь солнечные блики. Серапион тронул своего мула, за которым тотчас затрусил и мой, а потом город С… скрылся от меня навсегда за поворотом дороги; мне не суждено было возвратиться туда.

После трех дней езды по довольно унылым деревням из-за деревьев показался верх колокольни той церкви, где я должен был служить. Проехав несколько извилистых улиц, вдоль которых стояли крытые соломой хижины с палисадниками, мы оказались перед фасадом не слишком величественного вида. Паперть, украшенная нервюрами[8] и двумя-тремя грубо обтесанными глиняными колоннами, черепичная крыша и контрфорсы из того же материала, что и колонны, — этим ограничивалась архитектура. Налево — кладбище, заросшее высокой травой, с большим железным крестом посередине; направо, в тени церкви, — дом священника. Дом этот отличался крайней простотой и сухой аккуратностью. Мы вошли. Несколько кур клевали редкие овсяные зерна, разбросанные по земле. По-видимому привыкшие к черным одеяниям церковнослужителей, они ничуть не были испуганы нашим появлением и едва потеснились, пропуская нас. Послышался сиплый, захлебывающийся лай, и во двор выбежала собака.

Это был пес моего предшественника. У него были тусклый, унылый взгляд, серая шерсть и все признаки самой глубокой старости, какой только могла достичь собака. Я тихонько погладил ее, и она тут же принялась расхаживать вокруг меня с видом неописуемого удовольствия. Довольно старая женщина, экономка бывшего кюре, тоже вышла нам навстречу, провела меня в низкое помещение и спросила, намереваюсь ли я оставить ее на службе. Я отвечал, что оставлю и ее, и собаку, и кур, и всю мебель, которую передал ей, умирая,

прежний хозяин. Это привело ее в восторг. Аббат Серапион тотчас же дал ей жалованье, какого она хотела.

Покончив с моим размещением, Серапион возвратился в семинарию. Итак, я оставался один-одинешенек, безо всякой поддержки.

И снова мысль о Кларимонде овладела мною. Несколько раз пытался я увидать ее, но все безуспешно. Однажды вечером, прогуливаясь по самшитовым аллеям вдоль моего садика, я, как мне показалось, увидал сквозь деревья женскую фигуру, которая будто бы перемещалась вслед за мной. В листве сверкали глаза цвета морской волны… Но то был всего лишь обман зрения, и, дойдя до конца аллеи, я не заметил там ничего, кроме отпечатка ноги на песке, — такой маленький след можно было принять за детский. Сад был окружен высокими стенами. Я заглянул во все углы и закоулки сада — не было ни души. Я так и не смог дать какое-либо объяснение этому странному обстоятельству, которое, впрочем, не выглядит столь удивительным на фоне последующих событий.

Так я жил целый год, четко выполняя все, что требовалось от меня по моему положению: совершал службу, молился, хранил воздержание, проповедовал, помогал больным и ограничивал себя в самом насущном. Но в глубине души я был до крайности нечувствителен ко всему этому, и источники благодати были закрыты для меня.

Священническое служение, утратив былую сладость, уже не было для меня счастьем. Мысли мои были далеко, и губы часто повторяли невольно, как рефрен, имя Кларимонды. Ах, брат мой, задумайтесь об этом! Из-за того, что я всего один раз поднял глаза на женщину, из-за одной оплошности, казалось бы столь незначительной, я обрек себя на долгие годы смятения. Моя жизнь была поколеблена навсегда.

Не буду дальше задерживать ваше внимание рассказами о своей внутренней борьбе, о временных победах над собой, за которыми следовали все новые провалы, еще более глубокие, — а сразу перейду к решающему событию.

Однажды ночью ко мне в дверь постучались. Барбара — так звали старуху экономку — пошла отпирать, и в тусклом свете ее фонаря я увидал фигуру незнакомого мужчины с медного цвета лицом, одетого богато, но по странной моде, с длинным кинжалом. Вначале бедная экономка в страхе отшатнулась, но он успокоил ее, сказав, что пришел ко мне по неотложному делу, касающемуся моей службы. Барбара проводила его ко мне. Я собирался уже лечь спать. Незнакомец сказал, что его возлюбленная, очень влиятельная

дама, при смерти и хочет пригласить священника. Я ответил, что готов последовать за ним, взял с собой все необходимое для последнего причастия и поспешил спуститься.

У дверей два черных как ночь коня в нетерпении били копытами и выдували себе на грудь длинные струи пара. Незнакомец поддержал мне стремя и помог забраться на коня, сам вскочил на другого, едва опершись рукой на головку седла. Он отпустил вожжи и пришпорил своего коня, который помчался как стрела. Мой конь, которого он держал за поводья, тоже понесся галопом и так же превосходно держался всю дорогу. Мы стремительно понеслись. Под нами текла серо-полосатая земля, и черные силуэты деревьев убегали, как обращенная в бегство армия. Мы пересекли незнакомый лес, в котором царил такой непроницаемый и ледяной мрак, что у меня по коже пробегал трепет от какого-то суеверного страха. Снопы искр, высекаемые из камней подковами, оставались за нами, как огненный след, и если бы в этот ночной час кто-нибудь увидел нас, меня и моего провожатого, он принял бы нас за неких призрачных всадников из кошмарного сна. Время от времени на пути появлялись блуждающие огоньки, жалобно вскрикивали галки в лесной чаще, откуда то тут, то там иногда посверкивали фосфорические глаза диких кошек. Гривы лошадей все больше запутывались, по бокам их струился пот, из ноздрей вырывалось шумное и тяжелое дыхание. Но когда всадник увидел, что кони ослабели, он, ободряя их, испустил совершенно нечеловеческий гортанный крик, и яростная скачка продолжалась.

Наконец этот вихрь остановился; внезапно пред нами стало вырисовываться черное сооружение, на котором то и дело вспыхивали огоньки. На обитом железом полу шаги наших лошадей стали раздаваться слышнее, и мы въехали под темный свод, нависавший между двумя огромными башнями. В замке царило крайнее оживление; слуги с факелами в руках носились туда-сюда по двору, и огни то подымались, то опускались с лестницы на лестницу. Я смутно различал архитектурные детали: колонны, аркады, подъезды и балюстрады. Взору моему предстал роскошный, поистине королевский дворец. Мне помог сойти с лошади черный паж, и в ту же секунду я узнал его: ведь это он передал мне послание Кларимонды! Дворецкий, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на вороте и тростью из слоновой кости в руках, приблизился ко мне. Крупные слезы скатились из его глаз и заструились по щекам на белую бороду. «Поздно! — произнес он, качая головой. — Слишком поздно, господин священник. Но если уж вы не смогли спасти эту душу, то позаботьтесь о бедном теле». Он взял меня за руку и

отвел в траурную залу. Я плакал так же горько, как и он, потому что понял: умершая была, конечно же, моя Кларимонда, так долго и безумно любимая.

Скамейка для молитвы размещалась рядом с постелью умершей. Голубоватое пламя, порхавшее на бронзовой чаше, освещало всю комнату слабым и неверным светом. На выступавших из тени углах мебели или карниза поминутно вспыхивали блики. На столе стояла увядшая белая роза, погруженная в чеканную урну; все ее лепестки, кроме одного, который еще держался, упали к подножию вазы, как благоухающие слезы. Вокруг по креслам были разбросаны всевозможные маскарадные костюмы, валялись разбитая маска, веер — все говорило о том, что смерть пришла в этот великолепный дом неожиданно, не предупреждая о своем приходе.

Я опустился на колени, не решаясь поднять глаз на постель, и принялся читать псалмы с величайшим усердием, благодаря Господа за то, что Он таким способом преградил путь моим мечтам о ней, чтобы я мог прибавить к своим молитвам ее имя, отныне священное. Но мало-помалу этот порыв стал угасать, и я погрузился в грезы. В этой комнате ничто не напоминало о смерти. Вместо трупного смрада, которым я привык дышать, отправляя службу у мертвецов, томный дым восточных благовоний и какой-то любовный аромат женщины тихо плыли в остывшем воздухе. Это был скорее бледный свет сумерек, предназначенных для страстной любви, нежели тусклый желтый свет лампы, подрагивающей около мертвеца. Я думал: какой удивительный случай дал мне возможность вновь найти Кларимонду и в тот же миг потерять ее навсегда! Вздох сожаления вырвался из моей груди. Мне показалось, что позади меня послышался другой вздох, и я невольно обернулся. То было эхо. При этом движении взгляд мой, до сих пор отводимый, упал наконец на роскошную постель. Шторы из красной узорчатой ткани, расшитые крупными цветами и схваченные золотыми шнурами, позволяли видеть целиком тело покойной и руки, скрещенные на груди. На ней было ослепительно белое льняное покрывало, еще более яркое на фоне темного пурпура драпировки, и настолько тонкое, что не скрывало нисколько восхитительных форм ее тела и позволяло заметить эти прекрасные волнистые линии лебединой шеи… Сама смерть не смогла сделать ее окоченевшей. Она напоминала алебастровую статую, выполненную каким-нибудь искусным скульптором для могилы царицы, или еще заснувшую деву, на которую намело снегу.

Я больше не мог владеть собой и оставаться здесь. Вид этого алькова опьянял меня, лихорадочный аромат розы подымался в моем мозгу, и я

принялся ходить по комнате большими шагами, останавливаясь на каждом повороте перед этим возвышением, чтобы рассмотреть очаровательную усопшую сквозь прозрачный саван. Странные мысли пробегали в моем уме: я воображал, что она на самом деле не совсем умерла, что это только уловка, имеющая целью привлечь меня в этот замок и поведать о любви. Мне даже показалось, что под белым покровом шевельнулась ее ступня и что складки савана справа чуть-чуть наморщились.

Потом я стал спрашивать себя: «Точно ли это Кларимонда? Какое доказательство у меня есть? Разве не мог этот черный паж перейти на службу к другой женщине? И я безумец, что так сокрушаюсь и волнуюсь теперь». Но стук моего сердца отвечал мне: «Это точно она, это точно она». Я приблизился к кровати и особенно внимательно вгляделся в предмет моего беспокойства. Признаться вам? Это совершенство форм, хоть и очищенное и освященное тенью смерти, взволновало меня более сладострастно, чем когда-либо прежде, и этот покой настолько напоминал сон, что можно было обмануться. Я забыл, что пришел сюда совершить похоронный обряд, и стал воображать себя молодым супругом, входящим в спальню к невесте, которая стыдливо прячет лицо и никак не хочет открыть его. Сокрушенный горем, обезумевший от счастья, трепещущий от страха и одновременно от радости, я склонился к ней, взялся за уголок полога и медленно приподнял его, затаив дыхание, опасаясь разбудить ее. Кровь моя стучала с такой силой, что, казалось, свистела у меня в висках, и пот струился по лбу, как будто мне предстояло сдвинуть с места мраморную плиту.

Это действительно была она — такая, какой я увидел ее в церкви во время рукоположения. Она была так же прекрасна, и смерть казалась еще одним изящным ее украшением. Бледность щек, менее живая розовость губ, опущенные длинные ресницы, выделявшиеся темной бахромой на фоне этой белизны, придавали ей выражение печального целомудрия и задумчивого страдания невыразимо чарующей силы. Ее длинные распущенные волосы, в которые еще было вплетено несколько голубых цветков, лежали подушкой вокруг головы, скрывая под кудрями обнаженные плечи. Прекрасные руки, чище и прозрачнее облаток, лежали скрещенные в позе благочестивого покоя и молитвенного безмолвия, сглаживая все то, что могло быть, несмотря на смерть, слишком соблазнительно в этой изысканной округлости и гладкости слоновой кости обнаженных рук, с которых еще не были сняты жемчужные браслеты.

Я долго оставался так, поглощенный немым созерцанием, и чем больше смотрел на нее, тем меньше мог поверить, что жизнь навсегда покинула это прекрасное тело. Я не знаю, было ли то обманом зрения или игрой света лампы, но, казалось, кровь снова побежала по жилам под этой матовой бледностью; тем не менее она все еще оставалась совершенно неподвижна.

Я тихонько прикоснулся к ее руке. Она была холодна, но не так, как в тот день, когда она коснулась моей руки под церковным порталом. Я вернулся в прежнее положение, склонясь над ней лицом, и позволил теплому вину моих слез пролиться на ее щеки. Ах, что за горькое ощущение отчаяния и бессилия! Что за страдание эта ночная служба! Я хотел бы собрать воедино все силы моей жизни, чтобы отдать ей и вдохнуть в это ледяное тело огонь, пожиравший меня. Но шла ночь, и, предчувствуя близость вечного расставания, я не смог отказать себе в последнем и горьком наслаждении запечатлеть поцелуй на мертвых губах той, которой принадлежала моя любовь. И — чудо! Легкое дыхание смешалось с моим дыханием, и губы ее ответили на мой поцелуй. Глаза открылись и слегка блеснули, она вздохнула, опустила скрещенные руки и обняла меня за шею с видом неизъяснимого восторга.

«Ах, это ты, Ромуальд? — произнесла она томным и нежным голосом, похожим на заключительный аккорд в пьесе для арфы. — Что же ты делаешь? Я ждала тебя так долго, что распрощалась с жизнью, но теперь мы обручены, я смогу видеть тебя и приходить к тебе. Прощай, Ромуальд, прощай! Я люблю тебя, — это все, что я хотела сказать тебе, я возвращаю тебе жизнь, которую ты пробудил во мне на минуту своим поцелуем; до встречи!»

Голова ее снова откинулась назад, но руки все еще обнимали меня, как будто удерживая. Яростный порыв ветра, выбив стекло, ворвался в комнату; последний лепесток белой розы дрожал некоторое время, как крыло, на конце стебелька, потом оторвался и вылетел в открытое окно, увлекая за собой душу Кларимонды. Лампа потухла, и я упал без чувств на грудь прекрасной усопшей.

Очнувшись, я обнаружил себя лежащим в кровати в своей комнатке: старый пес прежнего кюре лизал мою руку, покоившуюся поверх одеяла. Барбара со старческой дрожью суетилась в комнате: то открывала, то закрывала выдвижные ящички стола, протирала пыльные стаканы. Заметив, что я открыл глаза, старуха вскрикнула от радости, собака затявкала и завертела

хвостом. Но я был так слаб, что не мог ни вымолвить слово, ни пошевельнуться.

Я узнал, что уже три дня находился в таком состоянии, не подавая признаков жизни, разве что еле слышно дышал. Я не заметил, как прошли эти три дня, и не знаю, где было мое сознание все это время, — у меня не осталось об этом никаких воспоминаний. Барбара сообщила мне, что тот же человек с медным лицом, который приезжал за мною ночью, поутру привез меня обратно в закрытых носилках и тотчас уехал. Едва собравшись с мыслями, я вновь припомнил все обстоятельства той роковой ночи. Вначале я решил, что оказался жертвой таинственного обмана чувств; но память о реальных, осязаемых событиях сразу же разрушила это предположение. Я не мог поверить, что это был сон, поскольку Барбара, как и я, видела этого человека с двумя вороными конями и описала детали его портрета с большой точностью. Тем не менее никто не знал в окрестностях ничего похожего на тот замок, где я нашел Кларимонду.

Однажды утром я увидел только что приехавшего аббата Серапиона. Барбара сообщила ему о моей болезни, и он тут же примчался. Хотя эта поспешность свидетельствовала об участии и заинтересованности в моей судьбе, его посещение не было столь уж приятно мне. Взгляд его был каким-то пронзительным и испытующим, и это смущало меня. Я чувствовал себя неловко, как если бы был виноват перед ним. Он стал первым, кто обнаружил мое внутреннее смятение, и мне была неприятна эта его прозорливость.

Лицемерно-сладким тоном он расспрашивал про здоровье, вперив в меня хищный взгляд желтых львиных глаз и погружая его мне прямо в душу, как бы прощупывая ее. Потом он задал мне несколько вопросов о том, как проходит моя служба, доволен ли я, как провожу время, свободное от выполнения моих обязанностей, появились ли у меня знакомые среди местных жителей, какие книги я предпочитаю, и многое другое выспрашивал он. Я отвечал на все эти вопросы по возможности кратко, а он, не дожидаясь конца ответа, переходил к следующему вопросу. Беседа эта, по всей видимости, не имела никакого отношения к тому, что он хотел сказать.

Наконец безо всякой подготовки, как будто о новости, которую он внезапно вспомнил и боялся опять забыть, он произнес ясным вибрирующим голосом, прозвучавшим у меня в ушах, как трубы Страшного суда:

— Известная куртизанка Кларимонда недавно скончалась во время оргии, которая длилась восемь дней и восемь ночей. В этом было какое-то

дьявольское великолепие. Возвратились все мерзости пиршеств Валтасара[9] и Клеопатры. В каком веке мы живем, Боже милостивый! Гостям прислуживали темнокожие рабы, говорящие на незнакомом языке, по виду сущие демоны; в ливрею ничтожнейшего из них мог бы облачиться в торжественный день какой-нибудь император. Вокруг этой Кларимонды все время ходили какие-то странные слухи; все ее любовники нашли самую ужасную или позорную смерть. Говорят, она была женщиной-вампиром, но я-то думаю, что это был сам Вельзевул во плоти.[10] Тут он умолк и взглянул на меня еще более пристально и внимательно, чем прежде, чтобы видеть, какой эффект произвели на меня его слова. Слыша имя Кларимонды, я не мог защититься ни единым движением, и это новое известие о ее смерти, вдобавок к тому страданию, которое оно мне причинило, по странному совпадению с ночной сценой, свидетелем коей я стал, повергло меня в трепет и ужас, отразившиеся на моем лице, как ни старался я овладеть собой. Серапион бросил на меня беспокойный и суровый взгляд, после чего произнес:

— Сын мой, я должен предупредить вас: вы стоите над пропастью. Будьте осторожны, не сверзитесь туда! У сатаны длинные когти, и могила не всегда надежная защита. Надгробье Кларимонды надо было бы запечатать тройной печатью; ибо она, говорят, не в первый раз умирает. Боже вас сохрани, Ромуальд!

Произнеся эти слова, Серапион медленно направился к двери. Я больше его не видел: он выехал в город С… почти тотчас же.

Я почти поправился и возвратился к своим привычным обязанностям. Воспоминания о Кларимонде и о словах старого аббата не выходили у меня из головы. Тем не менее не происходило ничего необычного, что могло бы подтвердить мрачные предсказания Серапиона, и я начинал думать, что нарисованные им ужасы и мои собственные страхи были сильно преувеличены. Но однажды ночью я увидел сон.

Едва я стал погружаться в забытье, как услышал, что полог над моей постелью поднялся и кольца на занавеси раздвинулись с громким шумом. Я резко поднялся на локте и увидел тень женщины, стоявшей передо мной. Я сразу узнал Кларимонду. Она держала в руке небольшую лампу, по форме напоминавшую те, что ставят на могилах; свет лампы придавал ее длинным, тонким пальцам розовую прозрачность, которая едва заметно распространялась дальше, переходя в матовую белизну обнаженных рук. Из одежды на ней был только льняной саван, который покрывал ее на той

великолепной постели. Она придерживала его складки на груди, как бы стыдясь своего скудного наряда, но ее маленькой ручки было недостаточно для этого: она была такая белая, что цвет ее одеяния смешивался с цветом кожи, освещенной бледным лучом лампы. Облаченная в эту тонкую материю, выдававшую все линии тела, она напоминала скорее мраморную статую античной купальщицы, чем живую женщину. Была ли она живая или мертвая, статуя или все та же Кларимонда, — красота была прежней. Только зеленый блеск глаз немного потух, и губы, прежде ярко-алые, были теперь окрашены лишь в нежно-розовый цвет, почти такой же, как и щеки. Голубые цветочки, которые я тогда заметил у нее в волосах, теперь совсем засохли и почти все осыпались. Это не мешало ей быть очаровательной — настолько, что, несмотря на всю необычность этого происшествия и на то, что она вошла в комнату совершенно необъяснимым способом, я ни минуты не испытывал страха.

Она поставила лампу на стол и села в ногах моей постели, потом сказала, склоняясь ко мне, своим серебристым и одновременно бархатным голосом, какого я не встречал ни у кого другого:

«Я заставила долго ждать себя, дорогой мой Ромуальд, и ты, должно быть, подумал, что я тебя позабыла. Но я пришла из самого дальнего далека — из таких мест, откуда никто еще не возвращался: в том краю, откуда я иду, нет ни луны, ни солнца. Там только пространство и темнота — ни дороги, ни тропинки. Никакой земли под ногами, чтобы дойти, ни капельки воздуха, чтобы долететь. И все же я здесь, ибо любовь сильнее смерти[11], и в конце концов победит. Ах, сколько зловещих ликов, сколько ужасов видела я, покуда продолжалось мое путешествие. Как трудно было моей душе, возвращающейся в этот мир силою воли, отыскать тело и вернуться к нему. Сколько усилий пришлось мне приложить, чтобы поднять могильную плиту, которой меня накрыли! Смотри — мои бедные ладони все в ссадинах и ушибах. Излечи их поцелуями, любовь моя!» Она поочередно приложила к моим губам холодные ладони и, пока я осыпал их поцелуями, смотрела на меня с улыбкой, полной неизъяснимой благодарности.

Я признаю, к стыду своему, что совсем забыл о совете аббата Серапиона и о том, как был при этом одет. Я сдался без сопротивления после первого же штурма. Я даже не пытался бороться с искушением: свежесть кожи Кларимонды пронизывала меня насквозь, и я чувствовал, как сладострастный трепет пробегает по моему телу. Бедное дитя! Несмотря на свершившееся, я все еще с трудом верил, что она могла быть демоном, — по крайней мере, с

виду она совсем не походила на него: никогда сатана не смог бы лучше упрятать свои рога и когти. Ноги ее вновь ослабели, и она присела на край постели в позе, исполненной кокетливой томности. Время от времени она проводила своей маленькой ручкой по моим волосам и закручивала их в локоны, как будто стараясь обрамить мое лицо новой прической, сопровождая все это очаровательнейшей болтовней. Я позволял ей это с самой непростительной снисходительностью. Что примечательно, я нисколько не был удивлен таким неожиданным поворотом дел, и с той же легкостью, с какой мы во сне принимаем как сами собой разумеющиеся события самые странные, я почитал все происходившее совершенно естественным.

«Я любила тебя задолго до того, как увидела, дорогой мой Ромуальд, и повсюду искала тебя. Ты был моей мечтой, и в тот злополучный миг я заметила тебя в церкви. Я тут же сказала: „Это он!“ Я бросила на тебя взгляд, в который вложила всю свою любовь, которую чувствовала к тебе до этого, в тот самый момент, и которую должна была чувствовать потом. Такой взгляд способен был обречь на вечные муки кардинала, заставить короля пасть на колени к моим стопам перед всем двором. Ты же остался бесстрастен и предпочел мне своего Бога.

Ах, как я завидую Богу, которого ты любил и любишь еще больше, чем меня![12] Горе мне, до чего я несчастна! Никогда сердце твое не будет принадлежать мне одной — мне, воскрешенной единственным твоим поцелуем, Кларимонде умершей, взломавшей ради тебя могильные врата и пришедшей посвятить тебе жизнь, которую она вернула лишь для того, чтобы сделать тебя счастливым!»

Все эти речи прерывались исступленными ласками, от которых чувства мои и рассудок были одурманены до такой степени, что я уже не боялся утешать ее, изрыгая чудовищные кощунства и заверяя, что люблю ее так же, как Бога.

Глаза ее снова ожили и загорелись, как хризопразы. «Это правда, в самом деле? Так же, как Бога? — повторяла она, обвивая меня своими прелестными руками. — Но тогда ты пойдешь со мной, куда я захочу, ты оставишь свои безобразные черные одежды.

Ты будешь самым благородным рыцарем, тебе все будут завидовать. Ты станешь моим возлюбленным. Быть возлюбленным Кларимонды, отказавшимся от рясы священника, — что может быть возвышенней и благородней! Ах, как счастливо мы заживем, у нас будет золотая жизнь!

Когда мы отправляемся, мой благородный рыцарь?» — «Завтра, завтра!» — кричал я в исступлении. «Пусть будет так, завтра! — согласилась она. — У меня будет время переодеться, потому что мое платье несколько коротковато и совсем не подходит для такого путешествия. Надо также известить моих людей, которые думают, что я в самом деле умерла, и сокрушаются всей душой. Деньги, платье, кареты — все будет готово. Я приду за тобой в тот же час. Прощай, сердце мое». Она слегка коснулась губами моего лба. Лампа погасла, шторы снова задернулись, и я больше ничего не видел.

На меня навалился мертвый сон, сон без сновидений, и сковал меня до самого утра.

Я проснулся позже, чем обычно, и воспоминание об этом необычайном видении волновало меня весь день. В конце концов я убедил себя, что это был лишь плод моего разгоряченного воображения.

Тем не менее ощущения были столь живыми, что было, трудно поверить в их нереальность, и я не без некоторого боязливого предчувствия лег в постель, сперва помолившись Господу, с просьбой удалить от меня дурные помыслы и даровать мне чистый и целомудренный сон. Я сразу же глубоко заснул, и сновидение мое продолжилось. Шторы раздвинулись, и я увидал Кларимонду — не такую, как в прошлую ночь, когда она была бледная в своем бледном саване и с фиалками смерти на щеках, а веселую, бодрую и нарядную, в великолепном дорожном костюме из зеленого бархата, украшенного золотыми шнурами и подобранного сбоку, чтобы можно было видеть шелковую юбку. Ее белокурые волосы сбегали крупными локонами из-под широкополой черной фетровой шляпы с белыми, причудливо изогнутыми перьями. В руке она держала небольшой хлыстик с золотым свистком на конце. Она легко прикоснулась ко мне и сказала: «Ну так что же, соня? Так-то вы приготовились? Я рассчитывала, что вы будете на ногах. Подымайтесь скорей, нам нельзя терять времени». Я спрыгнул с постели.

«Идемте! Одевайтесь и выходите, — говорила она, указывая пальцем на небольшой сверток, который принесла с собой. — Кони томятся и грызут удила у ворот. Мы уже должны быть в десяти лье отсюда».

Я поспешно оделся: она хохотала над моей неловкостью, сама подавала мне ту или иную часть туалета и показывала, как правильно ее надеть, когда я ошибался. Она немного завила мне волосы и после этого протянула карманное зеркальце венецианского хрусталя с серебряной филигранью и

сказала: «Как ты себе нравишься? Не хочешь ли взять меня к себе на службу в качестве камердинера?»[13]

Это был уже не я — я себя не узнавал. Я был не похож на себя настолько же, насколько законченная статуя не похожа на каменную глыбу. Мое прежнее лицо выглядело не более чем грубой заготовкой того, которое теперь отражалось в зеркале. Я был прекрасен, и эта метаморфоза приятно щекотала мое тщеславие. Эти изысканные одежды, эта богато расшитая куртка сделали из меня совершенно другого человека, и я изумлялся могуществу нескольких локтей ткани, выкроенных некоторым особым образом. Дух моего костюма пронизывал меня насквозь, и через десять минут я мог вполне сойти за щеголя.

Я несколько раз прошелся по комнате, придавая себе непринужденный вид. Кларимонда смотрела на меня с материнской снисходительностью и, кажется, была очень довольна своей работой.

«Ну, довольно ребячеств: в путь, мой милый Ромуальд! Нам ехать далеко, можем не успеть». Она взяла меня за руку и повлекла за собой. Все двери открывались перед ней, стоило ей коснуться их. Мы проскользнули мимо собаки, не разбудив ее. На пороге мы встретили Маргеритона — всадника, сопровождавшего меня в тот день. Он держал за поводья трех вороных коней, таких же, как те, — одного для себя, другого для нее, третьего для меня. Должно быть, это были испанские жеребцы, рожденные от коней, оплодотворенных Зефиром,[14] ибо мчались они как стрела. Луна, которая взошла, освещая нам путь, катилась по небу, словно колесо, отскочившее от повозки. Нам было видно, как она справа от нас прыгала с дерева на дерево и едва поспевала бежать за нами.

Скоро мы достигли какой-то равнины, где у рощицы нас ожидала карета, запряженная четверкой могучих коней. Мы сели в нее, и форейторы пустили их бешеным галопом. Одной рукой я обнимал свою Кларимонду за талию, другой держал ее руку. Я чувствовал, как ее полуоткрытая шея слегка касается моего плеча, на которое она положила голову. Никогда я не испытывал такого глубокого счастья. В этот миг я забыл обо всем: я вспоминал о своей службе не больше, чем о том, что я делал во чреве матери, — настолько велика была власть дьявольских чар надо мной.

С этой ночи мое естество как бы раскололось надвое: во мне жили два человека, не знавшие друг друга. То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным

господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность. Молодой господин, щеголь и распутник насмехался над священником; священнику были отвратительны выходки молодого распутника. Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались, — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил.[15]

Несмотря на дикость этого положения, мне кажется, я ни на мгновение не бывал близок к безумию. В пределах обоих моих существований я всегда сохранял ясность восприятия. Была только одна нелепая вещь, которой я не мог дать объяснение: как это ощущение одного и того же «я» жило в двух столь различных людях. Это была единственная странность, в которой я не отдавал себе отчета, будь я кюре в деревне *** или синьором Ромуальдо, официальным любовником Кларимонды.

Я все время бывал (или, по крайней мере, думал, что бываю) в Венеции; я все еще не мог вполне отличить, что в этом странном приключении было иллюзией, а что реальностью. Мы жили в огромном мраморном дворце на Каналейо, где было множество фресок и статуй, с Тицианом лучших времен в спальне Кларимонды, — во дворце, достойном и короля. Каждый из нас имел в своем распоряжении гребца, гондолу, комнату для занятий музыкой и собственного поэта.

Кларимонда предпочитала в жизни все великое; она была по натуре немного Клеопатрой. Я же вел жизнь наследного принца и раздувал щеки так, будто происходил из семейства одного из патриархов и первосвященников светлейшей республики. Я не посторонился бы с дороги, чтобы пропустить дожа. Не думаю, что с тех пор, как сатана низвергнулся с небес, кто-либо был большим гордецом и наглецом, чем я.

Я посещал Ридотто и предавался азарту игры, ставя на карту целые состояния.[16]

Я увидел все прелести светской жизни, проводя дни среди последышей погибших родов, театральных актрис, шулеров, прихлебателей и бретеров. Но, несмотря на безалаберность этой жизни, я оставался верен своей Кларимонде. Я любил ее безумно. Она могла бы расшевелить само пресыщение и приковать к себе саму неверность. Иметь Кларимонду было все равно что иметь двадцать женщин, всех женщин на свете, — настолько она была переменчивой, подвижной и всегда разной — настоящий хамелеон!

Она заставляла изменять ей с нею же, как будто бы с другими, в совершенстве подражая внешности, манерам и красоте своих возможных соперниц. Она сторицей вознаграждала мою любовь, и тщетно молодые патриции и даже старцы из Совета Десяти[17] делали ей самые блестящие и заманчивые предложения. Некий Фоскари[18] дошел даже до того, что решился просить ее руки. Она отказывала решительно всем: у нее хватало золота, ей хотелось лишь любви — любви юношеской, чистой, которую она пробудила во мне и которая для нее была первой и последней.

Я был бы совершенно счастлив, не будь одного проклятого кошмара, мучившего меня каждую ночь, в котором я был сельским священником, умерщвлял плоть и постоянно каялся в своих дневных прегрешениях. Успокоенный привычкой быть с Кларимондой, я почти не думал уже о том, каким странным образом с нею познакомился. В то же время мне порой вспоминались слова аббата Серапиона и приводили меня в некоторое замешательство.

С некоторых пор Кларимонда стала чувствовать себя хуже; она чахла день ото дня. Приглашенные медики ничего не понимали в ее болезни и не знали, что предпринять. Сделав несколько незначительных предписаний, они больше не появлялись. А Кларимонда между тем бледнела на глазах и застывала все больше и больше: она была почти такой же белой и мертвой, как в ту памятную ночь, в незнакомом замке. Я был в отчаянии, видя, как она медленно угасает. Она, тронутая моим горем, улыбалась мне тихо и грустно роковой улыбкой человека, который знает, что умирает.

Однажды утром я, сидя у ее кровати, устроился завтракать на маленьком столике, чтобы не покидать ее ни на минуту. Разрезая какой-то плод, я случайно порезал палец довольно глубоко. Тотчас же пурпурными струйками побежала кровь, и несколько капель брызнуло на Кларимонду. Глаза ее загорелись, на лице появилось выражение дикой, звериной радости, которого я никогда прежде у нее не видел. Она спрыгнула с постели с ловкостью зверя — обезьяны или кошки, — устремилась к моей ранке и принялась высасывать кровь с видом несказанного сладострастия. Она глотала кровь маленькими глотками, медленно, как что-то драгоценное, — так гурман смакует какой-нибудь херес или сиракузское вино. Она слегка скосила глаза, и ее зеленые радужки из круглых стали продолговатыми. Время от времени она прерывалась, целовала мою руку, потом снова надавливала губами на края ранки, чтобы выжать еще несколько алых капель. Увидев, что кровь больше не течет, она подняла поблескивающие глаза. Ее теплая рука была

влажна, посвежевшее лицо — розовее майской зари. Она была прекраснее, чем когда-либо, и чувствовала себя превосходно.

«Я не умру! Я не умру! — вскрикивала она, полуобезумевшая от счастья, бросаясь мне на шею. — Я смогу еще долго любить тебя! Моя жизнь — в твоей, и все, что есть во мне, — от тебя. Несколько капель твоей крепкой, благородной, драгоценнейшей крови, которая целительнее всех эликсиров на свете, возвратили меня к жизни!»

Эта сцена, внушившая мне некоторые сомнения относительно Кларимонды, долго не выходила у меня из головы. В тот же вечер, едва сон перенес меня в мой деревенский домик, я увидел аббата Серапиона, который был суров и озабочен, как никогда прежде. Он пристально взглянул на меня и произнес: «Мало того, что вы губите вашу душу, вы хотите погубить и тело! Несчастный юноша, в какую же ловушку вы попались!» Но, сколь бы глубоко ни поразил меня тон сказанных слов, это впечатление вскоре рассеялось, и тысячи других забот изгнали его из моего сердца.

Между тем однажды вечером я увидел в зеркало, расположенное мною так хитроумно, что Кларимонда не предполагала о его существовании, как она сыпала какой-то порошок в бокал шипучего вина, приготовляемый ею обычно после еды. Я взял бокал, для виду поднес его к губам, потом отставил в сторону, как бы намереваясь не спеша допить позже, и, пользуясь моментом, когда моя красавица отвернулась, выплеснул содержимое под стол. После этого я вернулся к себе в спальню и лег, твердо решив не засыпать и посмотреть, что будет. Мне не пришлось долго ждать: Кларимонда вошла в ночном уборе, разделась и легла на кровать подле меня. Убедившись, что я сплю, она обнажила мою руку, вынула из волос золотую булавку и зашептала:

— Одна капля, одна-единственная, красная, одинокий рубин у меня на кончике иглы… Если ты меня еще любишь, мне не нужно умирать… Ах, любовь моя, бедняжка, как прекрасна, как ослепительно пурпурна твоя кровь, сейчас я напьюсь ее… Спи, моя единственная радость, мое божество, спи, дитя мое, я не сделаю тебе зла, я не отниму у тебя жизнь, я возьму только часть ее: она нужна, чтобы не угасла моя жизнь. Если бы я не любила тебя так, я могла бы позволить себе завести других возлюбленных, которым осушала бы вены. Но с тех пор, как я узнала тебя, весь мир мне противен… Ах, твоя благородная рука, такая полная, такая белая… Я никогда не осмелюсь проколоть эту прекрасную голубую вену!

И, продолжая шептать, Кларимонда заплакала. Я чувствовал, как ее слезы проливаются на мою руку, которую она держала в своих ладонях. Наконец она решилась, сделала маленький укол своей булавкой и стала высасывать бежавшую из ранки кровь. И хотя она выпила всего несколько капель, ее охватил страх, что я обескровлен: она помазала ранку какой-то мазью, от которой та мгновенно зажила, а потом заботливо перевязала руку маленькой ленточкой.

Сомнений больше быть не могло: правота аббата Серапиона была доказана. Но, даже несмотря на это, я не мог заставить себя разлюбить Кларимонду. Я по доброй воле отдал бы ей всю кровь, которая была нужна, чтобы поддержать ее призрачное существование. Я, впрочем, не испытывал большого страха: все-таки она была прежде всего женщиной, а не вампиром, и услышанное и увиденное убеждало меня совершенно. Крови в моих жилах имелось тогда в изобилии, она не так уж скоро бы иссякла, и мне не жаль было отдавать жизнь по капле. Я сам обнажил бы свою руку и сказал ей: «Пей! И пусть моя любовь войдет в твое тело вместе с моей кровью!»

Я не сделал бы ни малейшего намека на историю со снотворным, которое она мне подсыпала, и на сцену с булавкой, и мы жили бы в самом добром согласии.

И все же совесть священника терзала меня больше, чем когда-либо прежде. Я не знал, какой еще способ послушания изобрести, чтобы обуздать и умертвить свою плоть. Хотя все мои видения были непроизвольны и я в них никоим образом не участвовал, я не дерзал прикасаться к Распятию нечистыми руками и призывать Христа мыслью, осквернённой подобным развратом, будь то во сне или наяву.

Пытаясь избежать изнурительных галлюцинаций, я мешал себе погрузиться в сон, придерживал пальцами закрывавшиеся веки или стоял, вытянувшись вдоль стены, и изо всех сил боролся со сном. Но дремота вскоре накатывала на меня; я понимал, что вся моя борьба тщетна, в отчаянии и изнеможении руки мои опускались, и я вновь плыл по течению к берегам моего искушения. Серапион же все неистовей увещевал меня и жестоко упрекал за малодушие и недостаток рвения. Однажды, когда я был особенно встревожен, он сказал мне:

— Чтобы спасти вас от этого наваждения, есть только одно средство, самое крайнее, и тем не менее придется его использовать. От большой болезни — большое лекарство. Я знаю, — продолжал он, — где похоронена

Кларимонда. Мы выкопаем ее: надо, чтобы вы увидели, в каком жалком состоянии пребывает объект вашей любви, и не пытались больше погубить свою душу ради смердящего трупа, изъеденного червями и готового рассыпаться в прах. Уж это наверняка заставит вас возвратиться к самому себе.

Я к тому времени настолько устал от своей двойной жизни, что легко поддался его уговорам, желая раз и навсегда удостовериться, кто же из нас — священник или благородный господин — существовал в действительности. Я решился погубить одного из них ради другого, а может быть, и обоих сразу, ибо подобное существование более продолжаться не могло.

Аббат Серапион вооружился киркой, железным ломиком и фонарем, и с наступлением полночи мы направились на кладбище ***, план которого он знал превосходно. Осветив потайным фонарем надписи на нескольких могилах, мы наконец подошли к одному камню, наполовину заросшему высокой травой, изъеденному мхом и растениями-паразитами. Мы разобрали начало надписи:

— Это точно здесь, — сказал Серапион.

Он просунул лом в щель камня и начал приподымать его. Плита поддалась, и он принялся работать киркой. Я смотрел, как он, чернее и молчаливее самой ночи, трудится, склонившись над могилой. Он делал свое страшное дело, истекая потом и тяжело дыша, словно и сам пребывал в агонии. Это было поистине странное зрелище, и если бы кто-то увидел нас со стороны, он принял бы нас, вероятнее всего, за осквернителей могил и похитителей саванов, но не за служителей Господа. В усердии Серапиона было что-то дикое и тяжелое, что делало его скорее похожим на демона, чем на апостола или ангела. Его аскетическое лицо с крупными чертами, резко выступавшими в свете фонаря, не обещало ничего хорошего. Я чувствовал, как ледяной пот покрывает все мое тело, и волосы шевелились у меня на голове. В глубине души я считал, что суровый Серапион совершает мерзкое святотатство, и желал бы, чтобы из темных туч, которые тяжело плыли над нами, вышел огненный трезубец и поразил бы его, стер в порошок. Совы, сидевшие на кипарисовых ветвях, прилетали, напуганные светом фонаря, и тяжело ударялись крыльями землистого цвета о стекло, издавая жалобные стоны. Издалека доносилось тявканье лисиц, и множество зловещих голосов раздавалось в тишине.

Наконец кирка ударилась о гроб; доски издали какой-то звук, одновременно глухой и звонкий, — такой ужасный звук издает ничто, если до него ненароком дотронуться. Серапион отвалил крышку, и я увидел Кларимонду — мраморно-бледную, со скрещенными руками; на ее белом саване пролегала вдоль тела всего одна складка. В уголке поблекшего рта сверкала, как роза, маленькая алая капелька. При виде ее Серапион пришел в ярость:

— Ах, это ты, бесовка, мерзкая блудница, пожирательница крови и золота!

Он окропил святой водой тело и гроб, изобразив кропилом крест. Едва эта Божья роса коснулась бедной Кларимонды, как ее прекрасное тело рассыпалось в прах; осталась лишь ужасающе бесформенная кучка пепла и наполовину обугливших костей.

— Вот ваша возлюбленная, синьор Ромуальдо, — неумолимо произнес священник, указывая на эти жалкие останки. — Надеюсь, вам больше не захочется путешествовать на Лидо[19] и в Фузину[20] с вашей красавицей?

Я поник головой. Внутри у меня все было разрушено. Я вернулся к себе домой, и синьор Ромуальдо, любовник Кларимонды, распрощался с бедным священником, с которым так долго водил в высшей степени странную компанию.

На следующую ночь я в последний раз видел Кларимонду: она говорила мне, как в первый раз, под церковным порталом: «Несчастный, несчастный, что ты наделал! Ты послушался этого глупого священника! Разве не был ты счастлив? И что я тебе сделала, зачем ты осквернил мою бедную могилу и обнажил нищету моего небытия? Отныне порваны все связи между нашими душами и телами. Прощай, ты будешь обо мне жалеть», — и растаяла в воздухе как дым. Больше я ее не видел.

Увы, она была права. Еще не раз душа моя сожалела о ней: покой был куплен слишком дорогой ценой. Любовь Господа ни в коей мере не могла заменить ее любви.

Такова, брат мой, история моей юности. Никогда не подымайте глаз на женщину: всегда проходите мимо, глядя в землю, ибо, как бы ни были вы целомудренны и спокойны, достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять вечность.

Примечания:

1

В этой трактовке темы, таким образом, не делается различия между собственно вампиризмом (жаждой свежей крови) и некрофагией — различия, довольно существенного для современной семиотики вампирического. Частный случай смешения двух понятий — традиция публиковать безымянный рассказ Эрнста Теодора Амадея Гофмана, повествующий именно о некрофагии, под условным названием «Вампиризм»; в настоящую антологию гофмановский рассказ включен лишь с целью сделать более зримой разницу между этими исторически связанными, но впоследствии далеко разошедшимися темами.

2

Эта трактовка образа воспроизводится в повести А. К. Толстого (впоследствии переведшего на русский язык «Коринфскую невесту» Гете) «Семья вурдалаков», написанной на рубеже 1830— 1840-х годов; в его же повести «Упырь» (1841) нарисован иной, романтический портрет вампира.

3

Цит. по: Lecouteux C. Histoire des Vampires: Autopsie d'un mythe. Paris, 2002. P. 9.

4

Клингер Ф. М.Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. СПб., 2005. С. 172. — Пер. А. Лютера под ред. О. Смолян.

5

Маркс К. Капитал: Критика политической экономии: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 267.— [Пер. Н.Ф. Даниельсона].

6

Пер. И. Анненского.

7

В тексте «Франкенштейна» обнаруживаются две открытые манифестации вампирической темы. В предисловии к второй редакции романа (написанном, правда, значительно позднее самой книги, в 1831 году) упомянута входящая

в «Фантасмагориану» вампирская повесть «Семейные портреты» — «о грешном родоначальнике семьи», обреченном запечатлевать смертельный поцелуй на лицах своих спящих детей, «которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля». Второй раз образ вампира возникает в словах Виктора Франкенштейна о порожденном им чудовище: «Существо, которое я пустил жить среди людей… представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого» (Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. М., 1965. С. 29, 95.— Пер. З. Александровой).

8

Там же. С. 30.

9

Отсылка к поэтической сатире Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), где Льюис назван «поэтом гробов», который «в царстве Аполлона подрядился в могильщики…» (Байрон Дж. Г.Английские барды и шотландские обозреватели // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 307. — Пер. С. Ильина).

10

[Шелли М.]Женевский дневник // Шелли [П.-Б.] Письма. Статьи. Фрагменты. М, 1972. С. 326. — Пер. З. Александровой.

11

См.: Medwin Th. Conversations of Lord Byron, Noted during a Residence with His Lordship at Pisa in the Year 1821 and 1822. L. 1824. P. 120.

12

Лещинский А.Избранный круг 1816 года // Три старинные английские повести о вампирах. СПб., 2005. С. 128, 127.

13

Это различие, однако, не исключает возможности сочетания обеих трактовок в рамках единого произведения — как, например, в повести русского прозаика Ореста Сомова «Киевские ведьмы» (1833), где на сугубо фольклорном материале проигрывается романтическая ситуация добровольного подчинения героя жене-вампирше (кстати, не умершей, а

предавшейся нечистой силе), изображенная подчеркнуто эротизированно: «Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слились в один долгий, жаркий поцелуй… <…> Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем как Федор истаявал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: „Сладко ли так засыпать?“ — „Сладко…“ — отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки» (Сомов О. М.Киевские ведьмы // Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840 гг.). Л., 1991. С. 186). Возможен и другой вариант, при котором различные культурные образы вампира соприсутствуют в едином сюжете, но воплощаются в разных персонажах: примером здесь может служить одна из сцен знаменитого романа Энн Райс «Интервью с вампиром» (1976) (подробнее об этом см. далее).

14

Наблюдение кинокритика С. Добротворского. См.: Добротворский С. Н.Ужас и страх в конце тысячелетия. Очерк экранной эволюции // Добротворский С. Н. Кино на ощупь. СПб., 2005. С. 67.

15

Блок А. А.Возмездие // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 321.

16

Вацуро В.Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. (АРС. Российский журнал искусств. Темат. вып.). СПб., 1992. С. 44.

17

Preliminaries for «The Vampire» // «The Vampyre» and Other Tales of the Macabre. Oxford; N.Y., 1997. P. 240. — Пер. наш. — С. А.

18

Ibid. P. 242.

19

«Но перед этим из могилы / Ты снова должен выйти в мир / И, как чудовищный вампир, / Под кровлю приходить родную — / И будешь пить ты

кровь живую / Своих же собственных детей. / Во мгле томительных ночей, / Судьбу и Небо проклиная, / Под кровом мрачной тишины / Вопьешься в грудь детей, жены, / Мгновенья жизни сокращая. / Но перед тем, как умирать, / В тебе отца они признать / Успеют. Горькие проклятья / Твои смертельные объятья / В сердцах их скорбных породят, / Пока совсем не облетят / Цветы твоей семьи несчастной» (Байрон Дж. Г.Гяур // Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 28. — Пер. С. Ильина). Комментаторами не раз отмечалась явная перекличка этих строк с сюжетом повести «Семейные портреты», входящей в «Фантасмагориану», и с ее описанием в предисловии к «Франкенштейну» М. Шелли, цитированным нами выше.

20

См.: Grudin P.D. Demon Lover. N.Y., 1987. P. 74–77; Вацуро В.Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации. С. 39, 41; Он же - Готический роман в России. С. 499, 504.